

Михаил Волконский

Князь Никита Федорович



Михаил Волконский
Князь Никита Федорович

«Public Domain»

1914

Волконский М. Н.

Князь Никита Федорович / М. Н. Волконский — «Public Domain», 1914

«По воле государя князь Никита Федорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву...»

Содержание

Часть первая	5
I. Митава	5
II. Кудесник	9
III. Герцогиня Курляндская	13
IV. Охота	18
V. Бестужева	24
VI. Бал	28
VII. Отец	33
VIII. Старый замок	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Михаил Волконский

Князь Никита Федорович

Часть первая

«Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою».
«Плач Иеремии», гл. III, ст. 58.

I. Митава

По воле государя князь Никита Федорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву.

Два года тому назад Рига, сдавшаяся русскому оружию, вошла уже в состав Российской империи, и, согласно данному царем приказанию ни минуты не останавливаться в пределах России, Никита Федорович не мог мешкать в этом городе. Только в Митаве мог он отдохнуть.

Он остановился здесь у товарища своего детства Черемзина, занимавшего, по своему придворному положению, небольшую квартиру в самом замке Кетлеров, служившем резиденцией герцогини Курляндской.

Черемзин, разбитной молодой человек, побывавший за границей, в Париже, живо впитал в себя верхи европейской образованности и покрылся лаком внешнего приличия, созданного щепетильным этикетом блестящего двора Людовика XIV. Это было все, что он вынес из своего пребывания за границей; впрочем, он привез с собою оттуда также несколько ящичков книг, красиво переплетенных, но не прочитанных.

На другой же день своего приезда в Митаву Волконский побывал у русского резидента в Курляндии Бестужева, силою царя Петра управляющего всем герцогством, согласно воле своего государя.

Бестужев, к которому у князя Никиты было рекомендательное письмо из Петербурга, принял его ласково, пригласил к себе на обед, расспросил о петербургских знакомых, о государе, о дворе и тут же представил своей дочери Аграфене Петровне.

В гостиной Бестужева пахло какими-то очень сильными, должно быть, восточными курениями, стояла золотая мебель, обитая голубым штофом, и блестел, как зеркало, выложенный, натертый воском паркет. Князь Никита видал роскошь, видал богатые дома в Петербурге, недавно выросшем на болотах, и в Москве, но там было все далеко не то, что здесь. Не было этой блестящей чистоты, отделанности, законченности и вместе с тем кажущейся простоты.

Молодая хозяйка дома тоже казалась вовсе не похожею на тех, вечно робевших и боявшихся взглянуть, не только говорить, молодых девушек, полных и румяных, которых Никита Федорович видал до сих пор. Бестужева не только не робела пред ним, но, напротив, он чувствовал, что сам, с каждым словом все больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точеную ножку девушки, смело выглянувшую из-под ловко сшитого шелкового платья.

Волконский не знал, как и вовремя ли он встал, поклонился и вышел осторожно, чтоб не поскользнуться, ступая по паркету. Выходя, он решил, что больше не поедет к Бестужеву.

– Ты понимаешь, – сказал он в тот же вечер Черемзину, – что мне здесь у вас не нравится? Видишь ли, воли нет, простора, все тут сжато. Вот и дома. Они, пожалуй, и больше наших московских, а все-таки как-то давят; не хоромы они... Так и все. Дворец вот...

– Замок, – поправил Черемзин.

– Ну, замок, что ли... Ты посмотри: окошечки узенькие, стены толстые, рвы, валы кругом. Да и люди тоже, скажу тебе, все в себя сжались, точно весь мир они только и есть, точно все существо жизни они притянули к себе, да и сдавили его. Разве так, без воли, проживешь?

– Это ты, должно быть, с дороги устал, мой милый, – возразил Черемзин. – А, впрочем, если желаешь простора, выйди погулять за город: там, брат, такой уж простор – прелесть...

– Что ж, и пойду, – согласился Волконский, – а то здесь просто душно... Ты не пойдешь? – спросил он уже со шляпой и тростью в руках.

Черемзин зевнул, закинул руку за голову и отрицательно покачал головой.

– Ну, так я один пойду.

– Смотри, не опоздай вернуться – после заката в замке поднимут мост, – крикнул Черемзин ему вслед.

Выйдя из замка, Волконский направился прямо в поле по первой попавшейся дороге.

Вечер был тих и прекрасен. С лугов веяло запахом скошенного сена, и дышалось легко. Солнце садилось, окрашивая небосклон нежными красками то огненного, то желтовато-бледного заката. Волконский, испытывая особенное наслаждение поразмяться после сиденья в неудобном экипаже, шел, объятый прелестью этого летнего вечера.

Через несколько времени он остановился, чтобы перевести дух. Сзади открылся ему вид на плоскую, окруженную зеленью Митаву, с ее длинными шпицами лютеранских церквей и силуэтом темного замка. Черепичные кровли домов, окруженные темно-зелеными кущами дерев, румянились косыми лучами заката, отражавшегося с этой стороны в изгибах реки, прозрачной и светлой.

Вдалеке, у конца расстилавшейся от ног Никиты Федоровича прямой, суживавшейся к городу дороги скакали несколько лошадей.

Впереди других Никита Федорович разглядел амазонку, которая подгоняла хлыстом свою и без того скакавшую широким галопом большую серую лошадь. Остальные, видимо, едва могли следовать за нею. На амазонке было темно-зеленое широкое платье с бархатною красною накидкой, красиво развевавшееся на ходу лошади. Она быстро приближалась по дороге, подымая отягощенную вечернею сыростью пыль. Еще несколько секунд, и Никита Федорович узнал в ней Бестужева.

Он узнал ее, хотя теперь она была совсем другою, чем там, у себя дома. Она сдержала уже свою лошадь и вполоборота разговаривала с нагнавшим ее русским драгунским офицером. Тот поднявшись на стременах и почтительно склонившись вперед, слушал ее, как бы гордясь своею собеседницей.

Волконский никогда еще не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною, чарующею прелестью. Она легко и свободно сидела в седле, видимо, уверенная не только в каждом своем движении, но и в том, что каждое это движение хорошо и красиво, потому что в ней все было хорошо. Никита Федорович смотрел на нее, забыв то смущение, которое испытывал при первом знакомстве, – забыв потому, что теперь пред ним была не Бестужева, не дочь важного сановника могучего Петра, но чистое, не здешнее, неземное существо, на которое мог радоваться всякий живущий. А она, не заметив даже Волконского, ударила лошадь и промчалась быстрее прежнего.

Он пошел обратно в город большими шагами. Он, конечно, не мог знать, какое у него было в это время блаженное, радостное лицо, с блестящими глазами и счастливого улыбочкою, но, радуясь, чувствовал во всей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую

удаль. Теперь все казалось уже прекрасным. Даже холодные, мрачные своды замка получили некоторую привлекательность, и Никита Федорович удивлялся лишь, как прежде он не замечал, что все в Митаве так хорошо и приятно.

Его отъезд был отложен на неопределенное время. Впрочем, это случилось как-то само собою. Он просто не приказывал своему старику слуге Лаврентию укладывать вещи, а тот не напоминал. Черемзину тоже не приходило в голову сделать своему гостю такое напоминание, и Волконский оставался в Митаве, забыв, что должен отправиться дальше по приказу грозного и не любившего послушания государя.

Волконский приехал в Митаву в смешном, грубом наряде, неповоротливый, застенчивый и, может быть, даже неуклюжий; но все это быстро, как лишняя кора, упало с него, благодаря влиянию обстановки, в котором очутился князь Никита и которая, видимо, вовсе не была чужда его природе, врожденным чутьем отгадавшей, что именно было нужно.

Привезенный из Петербурга парадный кафтан из серебряного глазета, расшитый руками крепостных золотошвеек по карте золотою канителью, битью и блестками, оказался не только скроенным не по моде, но и сидел настолько неуклюже, что его пришлось заменить новым, хотя и более простым, но зато более ловким и красивым. Затем явилась бездна мелочей, незаметно привившихся к внешней жизни Волконского. Черемзин, находя все это совершенно естественным, не замечал этой перемены в князе, так же, как и он сам.

Из русских книг, прочитанных прежде Волконским, он знал, что французы «зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много», «королевства англиканского немцы купеческие доктуроваты, а пьют много». Дальше этого сведения русских книг не распространялись. Черемзин рассказал князю Никите подробно и о французах, и о других народах, которых видел. О том, чего не видел Черемзин, князь Никита узнавал из его книг, из которых оказывалось, что свет вовсе не так необыкновенен, как описывалось в русских сочинениях, говоривших «о людях, кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа и корения пахучего, не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них те запахи есть, по то место и живут».

– Знаешь что, – сказал однажды Волконский Черемзину, отрываясь от немецкой книги, – все-таки мне прежнего жаль.

– Чего прежнего? – удивился Черемзин.

– Да вот того, что описывается в наших книгах... Там есть такие рассказы, например, о царстве девичьем...

– Вот вздор! – усмехнулся Черемзин.

– Может быть, конечно, вздор. Я вот из одной этой «Космографии», – Волконский кивнул на книгу, – понимаю, что все это – вздор; это-то мне и жаль... Неужели все на свете так же вот просто, как мы с тобою?

– Во-первых, мы с тобою вовсе не так просты, – ответил Черемзин, хотя и не много читавший, но тем не менее способный поддерживать всякий разговор, – кто тебе это сказал? А во-вторых, есть на свете довольно чудесного и без девичьего царства.

Волконский задумался.

– Вот, – начал Черемзин, – послезавтра у Бестужева будет немец...

– Какой немец? – спросил Волконский, чувствуя, что при имени Бестужевых краска бросается ему в лицо.

– Кудесник-немец, до некоторой степени особенный, судя по рассказам. Я один раз во Франции встретил подобного человека. Они попадают. Если тебя интересует – пойдем вместе. Немец здесь проездом. Да, отчего ты не бываешь у Бестужевых? Там раз как-то даже спрашивали о тебе, – добавил Черемзин.

– Кто спрашивал? – не вытерпел Волконский, тут же досадуя на себя за это, потому что еще минута – и его волнение могло быть заметно Черемзину. Но тот совершенно равнодушно ответил:

– Право, не помню, кто именно, знаю, что говорили...

На этом разговор прекратился, но Волконский так и заволновался весь. Он жил все это время, полный своими мечтами, в каком-то восторженном состоянии. Однако, когда Черемзин такими простыми словами и таким равнодушным голосом сказал, что он, Волконский, может пойти к Бестужевым, Никита Федорович почувствовал вдруг безотчетную боязнь за свое чувство, как будто оттого, что он пойдет туда, может случиться или что-нибудь ужасное, или... Никита Федорович не знал, что следовало за этим «или». Он знал только, что сердце его бьется, и кровь приливает к вискам.

Несмотря на это, теперь, после разговора с Черемзиным, он страстно, со все увеличивающимся желанием, начал ждать назначенного у Бестужевых вечера.

II. Кудесник

Гости съезжались, когда Волконский с Черемзиным подъехали к дому Бестужева. Никита Федорович по крайней мере уже раз сто представлял себе, как он войдет, как увидит дочь Бестужева и как вообще все это будет. Аграфена Петровна встретила его совершенно просто, равнодушно ответив на его глубокий, почтительный поклон кивком головы, таким же, каким ответила Черемзину и всем другим. Но от этого, разумеется, она не сделалась хуже; напротив, она была еще лучше, чем воображал Никита Федорович. И этот ее небрежный поклон был все-таки поклоном, обращенным к нему, и потому получал особенную прелесть.

Поздоровавшись с хозяевами, Волконский стал оглядывать гостиную. Лучше всех была, разумеется, молодая хозяйка. Все молодые люди, пышно разодетые, были вокруг нее, оставляя в стороне прочих дам, скучно и вяло сидевших в золоченых креслах.

Даже старики оберраты, толстые и солидные, которые держали себя очень важно и к которым то и дело подходил с любезною улыбкой сам Бестужев, казалось, радовались, глядя на его дочь, освещавшую все собою. Одна только молодая дама в темном, не совсем ловко сшитом платье сидела отдельно на диване, сдвинув брови над довольно широко поставленными глазами и сложив губы в принужденную улыбку, лениво обмахивалась веером, как бы не желая ни на что обращать внимания. Эти широко поставленные глаза, улыбка, а главное – ровный большой прямой нос и два спускавшиеся прямо на лоб дамы завитка неприятно поразили Волконского, когда он взглянул на нее. Он заметил, что все, почтительно поклонившись, как-то обходили ее, и только хозяин старался изредка занять ее разговором, но она улыбалась ему широкою улыбкою и отвечала, видимо, односложными словами, слегка позевывая за веером.

Среди бархатных и шелковых расшитых кафтанов особенно отличался своим черным с ног до головы одеянием приезжий немец, для которого съехались сегодня к Бестужеву и который сидел теперь у окна с самым солидным и толстым оберратом. Сначала все разговаривали, будто не обращая внимания на немца, но затем мало-помалу гостиная как-то сама собою приняла то расположение, которое было необходимо. Черный немец очутился в середине большой дуги, образованной рядом кресел, на которых поместились старики; молодежь, окружавшая хозяйку, сгруппировалась по-прежнему, возле нее, и все незаметно придвинулись; только дама в темном платье осталась по-прежнему в отдалении на своем диване. Разговор становился все более и более отрывочным, смех делался сдержанным, все точно ждали и прислушивались, думая, что вот-вот сейчас начнется самое интересное. Но немец, спокойно продолжая разговаривать с оберратом, ничего «не начинал» и ничего необыкновенного не показывал, «может быть, все это – вздор», – мелькнуло у некоторых из гостей.

Аграфеева Петровна поняла, что нужно вызвать немца на разговор, которого все ждали.

– Господин доктор, – обратилась она к нему по-немецки с откровенною решительностью, свойственною только хорошеньким женщинам, уверенным в том, что им будет позволено и всякое желание их исполнено.

Черный доктор склонился, почтительно слушая.

Бестужева прямо поставила вопрос ребром:

– Мне говорили, что вы – особенный человек и обладаете такими удивительными знаниями, что вам доступны вещи сверхъестественные...

Немец, прищутив глаза, ответил:

– Могу вас уверить, что на земле нет ничего сверхъестественного... Все очень просто и обыкновенно, если знать, и только для незнания таинственно.

– Ну, это нам все равно, – задорно сказала Бестужева, – мы ждем от вас чего-нибудь такого... удивительного...

И она улыбнулась немцу, смягчая этою улыбкой резкость своей намереннее откровенности.

– Извольте, – согласился доктор, улыбаясь в свою очередь. – Ровно сто лет тому назад...

Все притихли, довольные, что «началось»; одна лишь Бестужева не могла успокоиться.

– Что же это будет, доктор? История? – спросила она.

– Ровно сто лет тому назад, – продолжал он, не слушая, – в этот самый час был окружен врагами один монастырь, где заперся с небольшим отрядом ратников военачальник, твердо решивший не сдаваться. Напрасно враги шли на приступ, напрасно лезли на высокие стены и ломались в ворота – все усилия их были напрасны. Наконец, нашлась двое изменников, которые тайно впустили врагов внутрь монастыря; они вошли ночью и бросились на его защитников. Военачальник с горстью ратников кинулся в церковь и там был убит, защищаясь до последней возможности, кровь его, пролитая на церковный пол, так и осталась на камне: когда ее смывали, она выступала вновь...

– Это был, вероятно, немецкий монастырь? – самоуверенно спросил оберрат. – Я помню нечто даже подобное в истории моего рода...

Все находившиеся в гостях у Бестужева немцы, которых было тут гораздо больше, чем русских, невольно постарались припомнить, не случилось ли такой истории и в их роде, которым каждый из них гордился, зная чуть ли не наизусть всю свою родословную.

– Нет, – продолжал доктор, – монастырь был русский... Вам знаком этот случай, князь? – вдруг обратился он к Волконскому.

Никита Федорович почувствовал, что все взгляды обращаются на него, что все – и с ними она тоже – смотрят на него. Рассказ про своего родного прадеда, погибшего при осаде Боровского монастыря, он часто слышал в своей семье еще в детстве, но не мог понять, откуда этот приезжий, случайно встретившийся с ним немец знает и этот рассказ и, наконец, самого его. Бестужева действительно вместе с другими глядела теперь на князя Никиту. Худой, высокий и стройный, он стоял, опустив голову. До этой минуты он был для нее одним из молодых людей, составлявших толпу, на которую она всегда смотрела равнодушно, не обращая ни на кого особенного внимания, привыкнув к общему подчинению себе. Она знала, что несколько времени тому назад приехал в Митаву какой-то князь Волконский, что он был раз как-то у них, но какой он именно, не помнила. Теперь она смотрела на его довольно редкие, но приятные черты, на его высокий, бледный лоб и глубокие глаза, и странно – что-то особенное показалось ей в том человеке, точно он не похож на остальных, точно его лицо светится как-то особенно для нее и в его глазах она может читать всю его душу.

– Все это очень хорошо, – обратилась она к доктору, – но я не понимаю, зачем вы рассказали эту историю про... князя... – добавила она, не найдя другого выражения и показывая веером в сторону Волконского.

– Почему я рассказал именно эту историю? – ответил доктор. – Не знаю, но расскажи я всякую другую – вы смогли бы сделать мне тот же вопрос. Но почему я вообще рассказал вам что-либо, так это вследствие вашей просьбы...

– Да что же тут удивительного? – воскликнула Бестужева с некоторой обидой, выражавшейся у нее обыкновенно в легком дрожании подбородка.

– Как? Разве не удивительно в самом деле то, что я вот, сидя здесь, в покойном кресле, знаю, что случилось сто лет тому назад, когда ни меня, ни вас не было и никто не думал о нас?

– Да, но вы могли прочесть этот рассказ где-нибудь или услышать, то есть сделать то, что доступно каждому из нас, – возразил один из оберратов, считавшийся самым умным в совете.

– Совершенно верно, – согласился доктор, – и вас это не удивляет лишь потому, что вы сами можете сделать это...

– Ну, конечно, – нетерпеливо перебила Бестужева, – я понимаю, если бы вы рассказали нам будущее...

– Тогда бы это вас удивило?

– Разумеется, это было бы интересней.

– А мне кажется, что это решительно все равно; почему, собственно, труднее знать будущее, чем прошедшее?

– Ах, Господи, как почему? да прошедшее, в особенности такое, как вы рассказали, каждый ребенок, умеющий читать, может знать.

– А, вот вы сказали: «умеющий читать»! Видите, нужно и для знания прошедшего поучиться чему-нибудь, – значит, это вовсе не так просто, как вы думаете, – возразил доктор. – Этак ведь можно точно так же научиться читать и о том, что будет, и тогда для человека знающего, согласитесь, пропадет всякая разница в отношении знания для прошлого и будущего...

– Ну, а вы будущее можете нам сказать? – настаивала Бестужева.

Доктор, улыбаясь, поднял плечи.

– Что вам угодно знать? – проговорил он.

– Позвольте! Ну, вот здесь нас, – Бестужева оглянулась, – человек тридцать, я думаю...

Чья судьба вас интересует больше других?

Аграфене Петровне главным образом, как и каждому из присутствовавших, хотелось узнать свою собственную судьбу; но она нарочно, не желая говорить о себе, поставила вопрос так, будучи уверена, что, разумеется, самой интересною будет найдена именно ее судьба. Дочь первого лица не только в городе, но и во всей Курляндии, она уже давно привыкла к лести, которою тешили ее самолюбие все окружающие, отчасти вследствие высокого положения ее отца, а отчасти и вследствие собственного ее ума, молодости и красоты.

– Наиболее интересная судьба ожидает князя, – заговорил доктор и опять обернулся в сторону Волконского, и все снова стали смотреть на него. – Вам в жизни предстоит много борьбы духовной – и победа останется за вами. Не отчаивайтесь! Будьте бодры! В положении самом жалостливом вы будете все-таки всегда выше людей, вас окружающих. Может быть, мы встретимся еще когда-нибудь, – заключил доктор серьезным, мерным голосом, каждый звук которого отдавался в сердце Никиты Федоровича.

«Так вот он какой – этот Волконский! – думала Аграфена Петровна, взглядывая на князя Никиту. – Вот что!...»

И она не могла не ощутить в себе все-таки горделивого сознания, что вот человека, которого она видит теперь у себя совсем молодым, и который, вероятно, вместе с другими родеет пред нею, ждет впереди совершенно особенная, таинственная будущность, отличная от будущего других.

Доктор, собственно, ничем не мог сию минуту подтвердить сделанное предсказание. Известно было только, что он никогда не видал Волконского, и никто не мог говорить ему о нем, потому что, кроме Черемзина, почти никто не знал в Митаве князя, вовсе не принадлежавшего к жизни города. Это было странно. Но не это заставило всех поверить словам немца. Особенное доверие возбуждал его мерный, серьезный голос, который, казалось, никогда не говорил неправды.

– Ну, и из женского находящегося здесь общества, – снова спросила Бестужева, желая все-таки добиться своего, – кому вы предскажете будущность?

Доктор поднялся со своего места, налил из стоявшего на столе у стены графина воды в стакан и достал из кармана складную серебряную ложку.

Все в комнате с напряженным вниманием следили за малейшим его движением. Он вынул из канделябра восковую свечу и, отломив от нее кусок и распустив его в своей ложке, быстро вылил растопленный воск в стакан.

Бестужева не сомневалась, что гадание делается для нее и, внимательно вытянув шею, старалась рассмотреть, какую фигуру принимает застывший в прозрачной воде воск. Доктор поднял стакан на свет и разглядывал его.

«Неужели?» – мелькнуло у Бестужевой.

В стакане ясно очерчивалась фигура короны.

Немец вынул воск, расплескав воду, и действительно тот имел форму подушки с кистями по углам, на которой лежала ажурная тонкая императорская корона со скипетром и державою.

Бестужева, краснея от удовольствия, опустила глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих обращаются к ней, и все лица улыбаются ей, склоняясь, и что черный доктор сейчас подойдет к ней. Но он, как бы сам пораженный, быстро выпрямился, твердыми большими шагами прошел чрез комнату и, опустившись на одно колено, подал фигуру короны сидевший в отдаления даме в темном платье.

Это была герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна – будущая императрица Всероссийская.

III. Герцогиня Курляндская

Анна Иоанновна скучала в своей Курляндии, как только может скучать полная сил двадцатилетняя женщина, овдовевшая через два с половиною месяца после свадьбы, с детства привыкшая к огромному дому, полному всякой прислуги, приживалок и гостей и заключенная, как в темницу, в пустынный, средневековый замок с толстыми сводчатыми стенами, под которыми невольно стихала всякая попадавшая туда жизнь. Положение герцогини не только не спасло ее, но, напротив, служило главною причиной ее одиночества и заключения. Дочь покойного Иоанна Алексеевича, родного брата и соправителя по престолу царя Петра, она не помнила своего отца, умершего, когда ей было всего три года. Она выросла в родном селе Измайлове на попечении матери, царицы Прасковьи, вместе с двумя своими сестрами, из которых она была среднею.

В пятнадцать лет царевна Анна Иоанновна, благодаря своим не по возрасту формам и окрепшим мускулам, не казалась уже подростком.

В это время император Петр потребовал всех членов своей семьи в Петербург, и царица Прасковья, всегда послушная желаниям своего деверя, поспешила переехать туда с дочерьми. Царь Петр, помня кроткий нрав и подчинение своего покойного брата и видя послушание царицы Прасковьи, ласкал ее дочерей и заботился о них. Анна Иоанновна стала веселиться в Петербурге, где потянулась длинная вереница выездов, катаний, обедов, фейерверков, на которых она присутствовала вместе со всей царскою семьей, окруженная почетом и вниманием. Так прошло два беззаботных года, когда, наконец, раздалось над нею страшное слово «замуж».

Сам царь Петр выбрал племяннице жениха. Еще в октябре 1709 года он сговорился при свидании в Мариенвердере со своим политическим союзником, королем прусским, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру, чтобы, с одной стороны, вступить в свойство с прусским королевским домом, а с другой – приобрести влияние на Курляндские дела, и он назначил невестою немецкому принцу родную племянницу свою, Анну Иоанновну.

Жених не замедлил явиться в Петербург, после того, как вопрос о приданом был тщательно обсужден и решен его послами с русским правительством.

Свадьба справлялась целым рядом празднеств и затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разряженные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. В то же время была сыграна потешная свадьба карликов, для чего их собрали со всей России до полутораста.

Пирьы и празднества закончились небывалою попойкою, после которой молодого замертво уложили в возок и отправили вместе с женою домой в Курляндию. Но герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно скончался.

Смерть мужа оставила Анну Иоанновну вдовою без воспоминаний о супружеском счастье и герцогинею без связанных с этим титулом значения и власти. По политическим расчетам Петра она все-таки должна была отправиться в Курляндию. Герцогский жезл получил там, после кончины Фридриха Вильгельма, последний потомок Кетлеров, герцогов Курляндских, семидесятилетний Фердинанд, нерешительный и трусливый, не любимый народом, не способный к управлению и постыдно бежавший с поля сражения во время Полтавской битвы, где должен был находиться в рядах шведских союзников. Он не хотел явиться в Митаву, жил, ничего не делая, в Данциге и предоставил свое герцогство управлению совета оберратов. На самом же деле Курляндию управлял резидент русского государя Петр Михай-

лович Бестужев, присланный в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини Курляндской.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что она в Митаве – второстепенное лицо, и что все знаки внешнего почета и уважения, которые оказывались ей, служат лишь для того, чтобы исключить ее из митавского общества, веселившегося по-своему и недружелюбно относившегося к ней. Немцы-курляндцы, видимо, не любили бывшей русской царевны, иноземки, почти насильно посаженной им в герцогини; русские же составляли свой кружок, в котором на первом месте была молодая, веселая и хорошенькая дочь Бестужева, пользовавшегося обаянием действительной власти и силы. Таким образом, положение герцогини только уединяло Анну Иоанновну, связывало правилами этикета и лишало возможности жить так, как хотелось ей, то есть пользоваться наравне с другими жизнью в свое удовольствие. Она пробовала собирать у себя гостей. Они являлись аккуратно в назначенный час, но держали себя чопорно и натянуто, почти не скрывая своей скуки, уничтожить которую Анна Иоанновна положительно не умела. Кроме самого давящего тоскливого воспоминания – ничего не оставалось ни у гостей, ни у хозяйки от этих сборищ. К себе на празднества Анны Иоанновны никто не приглашал, под тем предлогом, что она – «герцогиня» и ждать от нее чести посещения не смеют; правда, все отлично знали, что она с восторгом явилась бы на какое угодно приглашение, но знали также, что, явившись, она принесет вместе с собою скуку и натянутость. Оставался один дом Бестужева, куда Анна Иоанновна и ездила, но и тут всегда на первом месте была Аграфена Петровна.

Ко всему этому у Анны Иоанновны, обязанной содержать особый ливрейный штат, повара, лошадей, которых она очень любила и которых у нее было очень много, и, наконец, поддерживать старый замок, – просто не хватало денег на то, чтобы «себя платьем, бельем, кружевами и по возможности алмазами не только по своей чести, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских достаточно содержать», как писала она дяде Петру, горько жалуясь на свою судьбу.

Но Петр Великий оставался непреклонен к слабостям женского сердца и не находил нужным потакать им своею щедростью. Даже известие о том, что «партикулярные шляхетские жены в Митаве ювели и прочие уборы имеют неубогие, из чего герцогине, при ее недостатках, не бесподозрительно есть», не тронуло его.

На другой день после вечера у Бестужева, где Анна Иоанновна была в простом, надеванном уже платье и где белый шелковый наряд Аграфены Петровны блистал и свежестью, и богатством, она стояла у окна своего замка, грустно облокотившись на растворенную цветную раму. Из этого узенького окна виднелась аллея сада, и несло ароматное тепло летнего утра, нежно и приятно вливавшегося в грудь под сырыми сводами неприветливых каменных стен.

Проснувшаяся зелень, как бы расправляя свои умытые росой листья, тихо шевелилась на теплом утреннем ветерке, трава нежилась и радовалась только что поднявшемуся солнцу, и птицы переговаривались неумолкавшим, веселым чиликаньем.

«Да, все живет, все радуется, – думала Анна Иоанновна, – а я тут одна, словно заживо погребенная».

И ей невольно вспомнились подвальные склепы замка, где в величавых каменных гробницах лежали похороненные потомки Кетлеров и куда она как-то ходила от нечего делать посмотреть из любопытства, после чего не могла спать спокойно несколько ночей.

Чтобы отогнать эту грустную мысль, она стала думать о своем детстве, об Измайлове, где было так хорошо и весело, где были тоже каменные хоромы, но приветные, уютные, с церквями и золотыми куполами, полные с утра до ночи народом, Матушка, царица Прасковья, любила «Божьих людей», юродивых и странников, которые всегда находили приют в ее доме и умели рассказывать такие чудесные, волшебные и занимательные истории. Один из

юродивых, подьячий Тимофей Архипович, замысловатыми выражениями и намеками предрекал царевне Анне то, что было ясно из действий вчерашнего кудесника. Это уже не было ей внове. Еще в детстве она с матерью ездила в Суздаль, и там митрополит Илларион тоже предсказывал ей скипетр и корону. Анна Иоанновна то верила в счастье своей судьбы и безотчетно надеялась на что-то, то вдруг чувствовала сильную боязнь к грозному дяде и спешила уверить себя, что она уже получила то, чего ей предсказано, что у нее есть уже герцогская корона и что она должна жить в Митаве и скучать, заживо погребенная. Эта мысль казалась ей всегда особенно жалостливою, и она не могла сдержать наворачивавшиеся на ее глаза слезы.

В это время в саду хрустнул песок дорожки, и Анна Иоанновна отстранилась от окна.

По саду шел, опустив голову, с маленькой книжкой в руках, Никита Федорович, и в нем герцогиня сейчас же узнала того князя, которому вчера вместе с нею кудесник предсказал странную судьбу. Он, очевидно, был так далек от всего окружающего, что, сам того не замечая, зашел в ту часть сада, где никто из живущих в замке обыкновенно не гулял.

Но Анна Иоанновна рада была видеть живого человека. Волконский еще вчера вечером, когда стоял, смущенный общим вниманием, понравился ей, и ей захотелось теперь просто поговорить с ним так, как вот он есть, случайно застигнутый посреди своих мыслей.

– Читаете? – спросила она, опираясь на подоконник.

Волконский вздрогнул, огляделся кругом и, увидев в окне Анну Иоанновну, быстро закрыл книгу, а затем с глубоким поклоном ответил:

– Герцогиня!

Он весь как-то в одну минуту подтянулся и из настоящего, живого человека, каким видела его за минуту пред, тем Анна Иоанновна, сделался вдруг безжизненно деревянным, похожем на всех, кто обыкновенно разговаривал; с нею в этой ненавистной Митаве.

– Господи! Да чего тут герцогиня! – заговорила она. – Разве я не такой же человек, как и все, разве со мною уж и поговорить просто нельзя?

Волконский стоял, почтительно склонясь, и слушал.

– Ну, чего вам-то тут? – продолжала Анна Иоанновна, – вы – человек приезжий, кажется, можете и не стесняться.

– Простите, ваша светлость, я попал сюда совершенно случайно, – ответил Волконский, думая, что Анна Иоанновна намекает на его бесцеремонность, с которою он подошел под самые окна герцогини.

– Не про то я, – перебила она, – напротив, что ж, что подошли?... Утро-то какое чудесное, а? – вдруг спросила Анна Иоанновна, видимо, желая завязать разговор.

Никита Федорович постарался выразить всем лицом и новым поклоном, что вполне разделяет это мнение.

«Ну, вот и этот, как все прочие!» – мелькнуло у Анны Иоанновны, и ей снова сделалось грустно и скучно.

Она замолчала, задумавшись и смотря куда-то вдаль поверх головы Никиты Федоровича, а он воспользовался этой минутой, чтобы откланяться и уйти от их неловкого разговора, который почему-то был ему неприятен.

Анна Иоанновна поднялась от окна.

– С кем это разговаривать изволили, ваша светлость? – послышался над самым ее ухом строгий голос Бестужева, входившего обыкновенно без доклада.

Анна Иоанновна наморщила лоб, и лицо ее приняло страдальческое выражение.

– С кем говорить-то мне? – вдруг возвышая голос, воскликнула она. – Сижу здесь взаперти, и в окошко нельзя мне теперь выглянуть.

– Нет, я только думал... – начал было Бестужев, поднимаясь на цыпочки и стараясь заглянуть в окно.

– Я вот что скажу тебе, Петр Михайлович, – резко перебила его Анна Иоанновна, – я больше не могу так!.. Это с ума сойти можно. Просто возьму, да и убегу в Москву. Что же это в самом деле? День-деньской одна сидишь, делать нечего, никого не видишь, такая тоска возьмет...

– Что же делать, ваша светлость: положение герцогини заставляет иногда... – попытался возразить Бестужев.

– Эта «герцогиня»! – крикнула Анна Иоанновна, гневно сверкнув глазами. – Вот уж она мне где! – и она показала себе на горло.

Бестужев видел, что Анна Иоанновна рассержена не на шутку. В такие минуты она никогда не помнила себя и, выйдя из терпения, могла наделать каких-нибудь хлопот, вздумав, пожалуй, в самом деле уехать, не спросившись государя, в Москву. Нужно было чем-нибудь успокоить ее.

– А я шел к вам вовсе не для того, чтобы рассердить вашу Светлость, – помолчав, мягко заговорил он. – Напротив, я думал предложить вам устроить охоту, если будет угодно.

Анна Иоанновна так и расцвела вся. Охота, была любимым ее удовольствием.

– Что ж, я рада, – сказала она, уже жалея о своей вспышке, казавшейся ей теперь даже беспричинною. – Только какая же теперь может быть охота?... Охоте не время теперь, – добавила она снова изменившимся голосом.

– Охота самая необыкновенная. Видите ли, все должны быть верхами, а один из участников выбирается зверем, и должен скрыться от остальных. Его ищут, гонятся за ним, и тот, кто поймает, – получает приз, – стал рассказывать Бестужев, вспоминая тут же пришедшую ему в голову новую затею своей дочери, которую та хотела привести на днях в исполнение.

– Ловко придумано! – обрадовалась Анна Иоанновна. – Когда же это будет? Нужно поскорее, Петр Михайлович.

– Когда ваша светлость прикажет, – ответил Бестужев, – я велю приготовить лошадей.

– Нет, насчет лошадей я уж сама распоряжусь... Да, вот что: вели пригласить на эту охоту тоже Волконского, что был вчера у тебя.

Бестужев внимательно посмотрел на нее.

– Ведь чем больше народа, тем лучше, – пояснила Анна Иоанновна, кивком головы показывая гофмаршалу, что он может удалиться.

Волконский все это утро думал о вчерашнем вечере, о Бестужевой и о том, как она смотрела на него, когда кудесник делал свое предсказание. Он никак не мог ожидать, что именно к нему будет относиться самое важное предсказание и что именно его судьба станет самой интересною, и это предсказание заняло его.

От Черемзина он узнал, что кудесник остановился у пастора лютеранской церкви. Он скоро нашел маленький домик, мимо которого всегда приходилось ходить из замка в город, и который стоял недалеко от церкви, на берегу реки, почти у самого моста, одним боком выдавшись из высокой каменной стены, закрытой каким-то густым ползучим растением. К пастору можно было попасть, только войдя с другого конца улицы в церковную ограду и миновав церковный сад. Церковь была окружена темными ветвистыми старыми деревьями, среди которых шла довольно широкая аллея, и в конце ее виднелась стена пасторского сада с небольшою железною дверцей. Ветви были очень густы, и солнечные лучи лишь изредка пробивались сквозь них, прорезывая сырой полумрак тени и кладя кое-где светлые пятна на влажную, темную дорожку аллеи.

Когда Никита Федорович входил с одного конца, на другом отворилась маленькая дверца, и в ее четырехугольнике, вдруг осветившемся солнцем, заливавшим своими лучами садик пастора, как в рамке, показались две женские фигуры с кланявшимся пастором; который, прощаясь, провожал их, Волконский не столько глазами, сколько всем существом своим

узнал Аграфену Петровну. Она смело шла к нему навстречу, сделав несколько шагов вперед, узнала в свою очередь князя Никиту.

Она, видимо, смутилась – и тем, что он застал ее здесь, и тем, что они встретились случайно, и тем, наконец, что он может заметить ее смущение. Как ни странно было для нее это чувство, которое она, всегда уверенная в себе, редко испытывала, но ей не было неприятно, что этот мало знакомый ей человек видит ее смущенною.

С первого же взгляда на Никиту Федоровича, с восторгом смотревшего на нее, она поняла, что он любит ее так, как она есть, любит даже самым смущением, которое для него так же прекрасно в ней, как и все остальное. И она не только простила его за то, что смутилась пред ним, но и почувствовала, что он в эту минуту не так ей чужд, как все остальные, точно все это было уже раз пред нею: и эта темная аллея с высокими деревьями, и эти пробившиеся сквозь листву лучи и главное этот сырой запах вековых древесных стволов, смешанный с благоуханием жасмина.

– Вы к нему? – спросила Бестужева, первая овладев собою и кивком головы показывая на калитку.

– Да, к немцу, – чуть слышно проговорил Никита Федорович, уже испытывая в себе ту легкость и волнение, которые всегда охватывали его, точно выросшие и готовые распусться крылья, когда он смотрел на эту девушку или думал о ней.

– Уехал, сегодня утром уехал, – с улыбкой ответила Бестужева и прошла мимо.

Больше они ничего словами не сказали друг другу, но Никита Федорович чувствовал, что после этой встречи они стали точно более близки, и что эта случайность не пройдет бесследно.

Пастор подтвердил ему, что доктор действительно сегодня рано утром уехал из Митавы к не пожелал сообщить, куда именно; но Волконский уже не жалел, что не мог говорить с черным доктором.

IV. Охота

Анна Иоанновна сама распоряжалась приготовлением к потешной охоте, которая была назначена в ее загородном доме близ Митава, в Вирцау. Затея очень понравилась ей, и каждый день она заставляла делать выводку лошадей у себя на конюшне, выбирая и распределяя их для участников потехи. За день до охоты она уехала в Вирцау и ночевала там. Гости должны были съехаться к десяти часам утра. Верховые лошади герцогини были приведены туда заранее.

Черемзин с Волконским явились в экипаже в Вирцау раньше других; но почти сейчас вслед за ними приехали несколько немецких баронов, которые, вежливо раскланявшись, пошли в конюшню осматривать лошадей. Затем прискакали верхом драгунские офицеры; потом, в тяжелой позолоченной колыхаге с гайдуком на запятках, приехал Бестужев.

Никита Федорович думал, что с гофмаршалом приедет и его дочь и радовался своим ожиданиям; но теперь у него невольно явилось сомнение, приедет ли она вообще, и все ему перестало здесь нравиться. Подойти и спросить у Бестужева о его дочери, он, разумеется, не решался.

Все эти дни погода стояла чудесная, и сегодня тоже небо было безоблачно и ясно. Молодые люди, блестя на солнце своими расшитыми кафтанами и галунами на шляпах, ходили в ожидании герцогини по небольшой площадке пред домом. Анна Иоанновна долго не выходила. Бестужев несколько раз вглядывался в даль дороги, держа руку над глазами от солнца, и затем беспокойно прохаживался по крыльцу.

– Кого же мы ждем? – спросил князь Никита Федорович у Черемзина.

– Как кого?... Герцогиню? – ответил тот, недовольно пожимая плечами.

Анна Иоанновна вышла на крыльцо сияющая и довольная, в длинном ярком платье, шлейф которого нес маленький паж. Ей подвели стройную, красивую лошадь под чепраком, с гербами курляндских герцогов.

Бестужев тоже сел верхом.

«И очень нужно по этакой жаре без толку слоняться! – рассуждал Волконский, забирая за загривок лошади и поднимая ногу в стремя. – И чего, право, не выдумают!.. А вот возьму, да и уеду!..» – решил он, попав в стремя, и быстро вскочил на нетерпеливую, не стоявшую спокойно на месте лошадь.

Толпа охотников, с Анною Иоанновной впереди, шагом выехала на дорогу. Из всех лиц улыбающимся было только одно – лицо самой герцогини. Все остальные сидели насупившись и морщились от лучей прямо бывшего им в глаза солнца.

Так молча проехали некоторое время. Нужно было, наконец, что-нибудь предпринять – свернуть с дороги, что ли, а то, продолжая так, можно было доехать до самой Митавы. Анна Иоанновна почувствовала это. Но, видимо, никто не хотел помочь ей; все были готовы исполнять только ее приказания, а что и как приказать – она положительно не умела.

«Вот эта Бестужева наверное знала бы, что теперь делать, – не без зависти подумала герцогиня. – И что они находят в ней, право? Худа – и больше ничего», – рассуждала она про безмолвно едущих за нею теперь молодых людей.

Действительно, они и сами не могли понять, почему, когда пред той же толпой их, как сегодня, бывала в другие дни Бестужева, – все было иначе, являлись откуда-то и веселье, и смех. Бестужева при этом ничего, казалось, не делала, чтобы вызвать такое настроение. Анна же Иоанновна, напротив, всеми силами старалась – и ничего из этого не выходило.

– Ну, что ж, пожалуй, свернуть можно? – спросила Анна Иоанновна, оборачиваясь к Бестужеву.

– Уж это как угодно вашей светлости, – ответил тот.

– Да мне угодно только, чтобы весело было; вы скажите как, нужно теперь свернуть, что ли?

– А вот, кажется, дочь моя едет – она покажет, – сказал Бестужев, смотря на дорогу, где уже белело облако пыли, в которое давно жадными глазами впился Никита Федорович.

При имени Бестужевой Анна Иоанновна вдруг решительно повернула лошадь и, как будто сама зная, что ей делать, крупною рысью поехала прямо в поле. Там, на дороге, где ехала Бестужева, также окруженная охотниками, заметили это движение. Но Аграфена Петровна вместо того, чтобы погнать свою лошадь шибче, напротив, придержала ее и поехала шагом, свернув, однако, тоже в поле.

Анна Иоанновна, отскакав от дороги на довольно большое пространство, остановилась. Она видела, что Бестужева, нарочно не спеша, шагом приближается к ним, и ей хотелось во что бы то ни стало начать «охоту» раньше того, как она подъедет.

– Ну, господа, как же, кто же будет зверем, а? – спросила она, любезно улыбаясь и нетерпеливо поворачиваясь на седле. – Да, ну же, скорее начинайте!.. – чуть не умоляя, добавила она.

Но никто не выказывал особенной торопливости. Видимо было, что никто не двинется, пока не подъедет Аграфена Петровна, которая, точно нарочно, дразня и рисуясь, подвигалась особенно медленно, придержав еще свою лошадь и бережно объезжая каждую кочку.

«Милушка!» – чуть не вырвалось у Никиты Федоровича навстречу ей.

Наконец ее большая серая лошадь мерным, красивым шагом, особенно ловко округляя передние ноги, подошла почти вплотную к лошади герцогини.

С появлением Бестужевой все лица оживились.

– Добрый день, ваша светлость! – обратилась она по-немецки к Анне Иоанновне с тою улыбкой, чарующее впечатление которой она знала.

И, действительно, эта улыбка способна была примирить с нею всякого.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что теперь будет непременно весело, потому что у этой безжизненной прежде толпы вдруг явилась душа, и толпа проснулась. Общее оживление невольно передалось Анне Иоанновне, и в ней незаметно растаяло всякое неудовольствие против Бестужевой.

– Аграфена Петровна, – обратилась она к ней, – ну, как же начинать?

Бестужева обвела глазами охотников. Среди них особенно выделялся своим самодовольным бело-розовым лицом откормленный, гладенький немчик, сын старшего оберрата, взгромоздившийся на огромную лошадь, вовсе не соответствовавшую его маленькому, пухлому тельцу.

– Ну, барон, выезжайте! – предложила ему Аграфена Петровна.

Барон храбро дал шпоры своему коню и выдвинулся, стараясь пробраться между нетерпеливо топтавшимися на месте лошадьми.

– Да не так... Туда, в поле! – пояснила Бестужева, протягивая руку вперед и указывая в пространство. – Мы будем считать до ста, в это время вы можете уехать куда угодно, а затем мы поскачем за вами. Ну, Черемзин, считайте! – приказала она.

Барон еще раз дал шпоры, его огромный конь, видимо, не желая отделяться от других лошадей, перебрал ногами и стал пятиться.

– Раз, два... – начал Черемзин.

– Постойте, погодите, еще не время, я еще не начал, – забеспокоился барон, едва охватывая своими коротенькими ногами крутые бока лошади, которая трясла головою и продолжала пятиться.

– Одиннадцать, двенадцать, – неумолимо продолжал Черемзин.

Барон отчаянно замахал рукою и что было силы ударил коня хлыстом. Тот вдруг рванулся вперед и поскакал по полю сломя голову.

Кругом все засмеялись. Барон несся, растопыря ноги и откинувшись назад, точно повис на поводьях... Его шляпа с огромным пером свалилась назад и трепалась на ремешке, сползшем со щек барона. Проскакав таким образом, лошадь круго остановилась, и барон перекинулся на ее шею, которую невольно охватил руками, чтобы не полететь через голову лошади.

Черемзин в это время дошел уже до шестидесяти.

Фигура барона была очень смешна, в особенности с той стороны, с которой глядели на него остальные. Огромный конь, почувствовав, должно быть, нетвердость своего седока, поддал задними ногами, и барон еще крепче припал к его шее, не обращая уже внимания на то впечатление, которое он производит.

– Девяносто восемь, девяносто девять, – считал Черемзин, – сто! – наконец крикнул он.

Несколько лошадей кинулись по направлению несчастного барона, бившегося на своей лошади посреди поля. Бестужева сделала только вид, что кинулась вместе с другими, но на самом деле осталась сзади. Она заметила, что несколько молодых людей, между которыми был Волконский, сделали то же самое.

Анна Иоанновна первая настигла барона и получила первый приз.

Лошади только разгорячились этою короткой скачкой. Никто, разумеется, не имел еще времени устать, напротив, каждому казалось, что он может хоть целый день провести, не слезая с лошади. У барона пошла кровь из носа, который он, очевидно, разбил, когда наткнулся на шею своего коня, но и барон старался оправиться и всеми силами желал показать, что это ему ничего.

После барона в качестве зверя выехал Черемзин. Он не торопясь отделился от охотников, спокойно выждал момента, когда они поскакали, и, подпустив их довольно близко к себе, внезапно отскочил в сторону, а затем, сделав большой круг по полю, поддался герцогине. Все это было исполнено красиво и весело.

Бестужева все время ездил, сберегая силы своей лошади. Она отлично видела, что Черемзин поддался герцогине и прежде других остановилась на небольшом холмике, как бы осматривая местность. Мало-помалу все начали подъезжать к ней.

Они все незаметно приблизились теперь к небольшому леску, который прежде только синел пред ними тонкою полоской вдали от дороги.

– Не пора ли обедать, ваша светлость? – подъезжая крупною рысью, спросил у герцогини Бестужев, не участвовавший в скачках и лишь степенно наблюдавший за нами.

– Ах, нет еще, погоди, Петр Михайлович! – ответила Анна Иоанновна, блестя разгоревшимися глазами.

– Ну, а кто поймает меня? – вдруг крикнула Аграфена Петровна, и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, она была уже у опушки леса, перепрыгнула какую-то канаву и исчезла в зелени деревьев.

– Куда ты... сумасшедшая! – мог только крикнуть отец вслед ей.

Никита Федорович вместе с другими, не помня себя, кинулся за Бестужевой.

Они быстро миновали пространство, отделявшее их от леса, и Волконский, к своему удовольствию, чувствовал, что его лошадь еще совершенно свежа и легко перепрыгнула канаву у леса. Пригибаясь к седлу, чтобы ветви не мешали ему, он поехал между деревьями, стараясь разглядеть след лошади Аграфены Петровны, и с ужасом замечал, что это невозможно, и что он теряется в чаще похожих друг на друга стволов леса. Он огляделся кругом. Остальных охотников уже не было видно. Только направо и налево слышалось хрустение веток и валежника, ломавшегося под ногами их лошадей. Волконский остановился. Мало-помалу треск валежника стал слабее и, наконец, вовсе замолк. Очевидно, все разъехались, сдержав лошадей, потому что бесцельная скачка была не нужна и опасна. Князь Никита поехал вперед наугад. Он долго пробирался между деревьями, не зная направления и не

отдавая себе отчета, едет ли он вперед или назад и сколько времени прошло с тех пор, как они въехали в лес.

«Нет, – соображал он, – верно, я свернул с дороги, потому что иначе встретил бы кого-нибудь... Боже мой!..»

И сердце его сжалось при мысли, что кто-нибудь другой настигнет ее и что, может быть, теперь она уже настигнута, и охота кончена, и все, забыв о нем, собрались где-нибудь и завидуют охотнику, которому улыбнулось сегодня счастье. Дыхание у него сжалось, и сердце забилося – неужели кто-нибудь другой, не он, будет сегодня победителем? И, ударив лошадь, он поскакал вперед.

Лес, сначала частый, начал редеть, и скоро между стволов показались просветы.

«Так и есть! – с отчаянием подумал Волконский, – это – опушка; я вернулся назад, опять к тому месту, откуда мы поехали...»

Но вдруг признак надежды вдохнул в него новую силу. Он ясно услышал фыркание чьей-то лошади и тяжелую неровную поступь копыт.

«А вдруг это – она?» – мелькнуло у Волконского, но тут же, по биению своего сердца, он решил, что это не может быть Бестужева.

Он выехал не на опушку, как ему показалось сначала, но на довольно широкую лесную полянку, где пред большим корявым пнем топталась на одном месте огромная лошадь барона, напрасно силившегося одолеть ее упорство.

– Наконец-то кто-нибудь! – радостно крикнул барон, – теперь ничего, она пойдет за другою лошадию... Погодите меня!

Но Волконский быстро повернул назад и что было силы всадил шпоры в бока лошади; та понеслась. Однако он слышал, что барон скачет за ним, становится все ближе и ближе к нему, и теперь все его мысли и все уменье были направлены к тому, чтобы отделаться во что бы то ни стало от этого смешного немца.

Никита Федорович летел стремглав, перепрыгивая сваленные стволы, рытвины и не обращая внимания на хлеставшие его ветки. Барон отстал от него, а он, не помня ничего, так как вдруг решил, что теперь для него уже все пропало, все-таки несясь вперед, с мучительной тоскою повторяя себе:

«А как все это могло быть хорошо сегодня!»

И вдруг посреди этой бешеной скачки его лошадь вынесла снова на поляну. Тут, скрепив на груди руки и высоко закинув голову, одна, еще не настигнутая никем, стояла Бестужева.

Никита Федорович, не веря свои глазам, бросился к ней.

«А, это – вы, князь!..» – как бы сказала она всем своим движением и, ударив лошадь, кинулась в сторону.

Догнать теперь ее составляло жизнь или смерть для князя Никиты.

Аграфена Петровна, как бы щеголяя своим уменьем держаться на лошади и, видимо, будучи отлично знакома с местностью, неслась впереди, заставляя Волконского делать безумные скачки и повороты. Но он, готовый лучше зарезать лошадь или лишиться жизни, чем отстать, гнался с настойчивым, отчаянным упорством и надеждой. Несколько раз он почти настигал Аграфену Петровну, но не было места объехать ее, и он волей-неволей должен был оставаться сзади. Наконец, замучив своих взмыленных лошадей, они приблизились к опушке. Никита Федорович безжалостно посылал и хлыстом, и шпорами свою лошадь. Но вот она сделала, казалось, последнее страшное усилие – и Волконский увидел, что он уже скачет рядом с Аграфеной Петровной, что, протянув руку, он может достать удила ее лошади. Он нагнулся вперед и действительно схватил под уздцы лошадь Бестужевой. Аграфена Петровна не ожидала этого и покачнулась в седле. Князь должен был обхватить ее свободною рукою, чтобы она не упала, Это движение было совершенно невольно. Лошади сде-

лали еще несколько скачков и, измученные, готовы были остановиться. Как это случилось – Волконский не помнил, но забыв о том, что он делает, и не владея собой, он в опьянении счастья прикоснулся губами к горячей щеке Аграфены Петровны.

Девушка вздрогнула и рванулась от него. Он не удерживал. Лошади пошли шагом.

Аграфена Петровна ехала молча, низко опустив голову и кусая губы.

«Все пропало! – думал Волконский. – Боже мой, Боже мой, что я наделал!..»

Насупив брови и не сказав ему ни слова, Бестужева приблизилась, наконец, к разбитому в поле шатру, у которого давно гудел звонкий рог доезжачего, сзывая участников охоты.

Волконский слез с лошади и едва устоял на ногах. Колена его дрожали, и руки тряслись. Должно быть, он был очень бледен, потому что Черемзин с беспокойством подошел к нему и советовал выпить вина.

– Не надо, – слабым, безнадежным голосом ответил Волконский, – теперь ничего не надо.

– Да что с тобою? – настаивал Черемзин. – Тебе нездоровится?... Ты, верно, слишком устал... Тебе бы вина, – предлагал он.

Никита Федорович почти бессознательно поймал одно только слово «вина» и невольно зацепился за него мыслями, придав ему свое, совершенно иное значение.

«Виноват, сам виноват!..» – повторял он себе.

У шатра был разостлан большой ковер, уставленный посредине яствами и питьем. Здесь все весело расположились, чувствуя большое удовольствие хорошо поесть, проведя столько времени на вольном воздухе и верхом. День выдался очень удачный. Веселье было полное.

Один Никита Федорович сидел, ни к чему не притрагиваясь. Он был чужд этой веселой толпе. Сегодня он испытал мимолетно слишком большое, незаслуженное, украденное, как думал он, счастье, чтобы теперь радоваться какому-то пустому и мелкому веселью. Правда, его дерзость никогда не будет прощена и навеки унесла всякую надежду, и теперь ничто не может быть ему радостно... И ему вдруг показалось невыносимо оставаться в этой равнодушной, глупой и совершенно чуждой ему толпе, имеющей силы веселиться и смеяться после того, что случилось с ним. Он почувствовал неудержимую частую дрожь в правой щеке и, как молния, по его лицу пробежала нервная судорога.

«Что с ним?» – мелькнуло у Бестужевой.

– Князь Никита, – быстро сказала она, подняв тонкой, маленькой рукою хрустальный стакан, – подайте мне меда – вон того красного, что стоит возле вас.

И жизнь вернулась в душу Волконского. Он встал, задыхаясь от нового нахлынувшего на него счастья, подошел к ней и дрожащею рукой наклонил над ее стаканом большой кувшин с медом.

– Что с вами? – укоризненным шепотом спросила Бестужева. – Это ни на что не похоже! Кругом стояли говор и смех. Никто, казалось, не обращал на них внимания.

Волконский вернулся на свое место совсем преобразившийся, сияющий.

«Что с вами? Это ни на что не похоже», – безостановочно твердил он себе, думая, что сходит с ума от радости, глядел теперь кругом на всех добрыми, ясными глазами, и их смех и веселье, казавшиеся ему за минуту пред тем ненавистными, теперь были для него дороги, милы.

Анна Иоанновна слышала, как Бестужева подозвала к себе Волконского – того самого Волконского, который так еще недавно там, у окна замка, спешил отделаться от ее разговора, – видела, как он подошел к Аграфене Петровне, и заметила перемену в нем после того, как та что-то тихо сказала ему.

«Ишь, одним словом осчастливила человека!» – подумала Анна Иоанновна, и дурное чувство к Бестужевой снова вспыхнуло в ней.

– Принесите мне накидку, я забыла ее в шатре, – резко и громко сказала она по-немецки, обращаясь к Аграфене Петровне.

При этом смелой и неожиданном приказании, которое не могли не слышать все, всем как-то сделалось неловко, и гул разговора внезапно затих.

Бестужева изменилась в лице, – никогда еще ничего подобного не случалось. Ее отец удивленно поднял голову, точно не веря своим ушам; но Анна Иоанновна, как бы равнодушно смотря вдаль, видимо, настойчиво ждала исполнения своего приказания.

Старик Бестужев встал, чтобы пойти вместо дочери за накидкой.

– Когда герцогиня приказывает, – вдруг еще резче произнесла Анна Иоанновна, – нужно немедленно исполнять ее приказание. Аграфена Петровна, слышали?

Бестужева, бледнея и дрожа, подняла голову. Ее отец в ужасе сжал себе виски руками и закрыл глаза. Остальные потупились, ожидая, что произойдет сейчас неудержимая вспышка Аграфены Петровны. Но она, сделав над собой усилие и чуть слышно прошептав: «А-а, если так...» – медленно встала со своего места, вошла в шатер и вернулась оттуда с накидкой.

Прежнее веселье как рукой сняло. Сидели недолго и молча; герцогиня велела подавать лошадей. «Охота» кончилась.

V. Бестужева

Аграфена Петровна вернулась в Митаву вместе с отцом, и дома с нею сделался нервный припадок.

Петр Михайлович серьезно забеспокоился о здоровье дочери. Однако она даже без помощи доктора сама оправилась, но прежняя веселость не вернулась к ней. Она ходила с серьезным, сосредоточенным лицом, на котором так и застыло появившееся выражение затаенной обиды, когда она встала на охоте за накидкой герцогини со словами: «А-а! если так...» Бестужев внимательно следил за нею и, зная ее характер, был очень встревожен ее душевным состоянием. Оставалось не больше недели до 29-го июня – дня именин не только самого Петра Михайловича, но главное – государя. Этот день обыкновенно праздновали у Бестужева с подобающею роскошью. По своему положению в Митаве, он должен был делать приемы в высокотожественных случаях, а именины государя были, безусловно, одним из таких случаев. В этом году, как и прежде, он хотел устроить у себя бал, но боялся, как бы нездоровье дочери не помешало этому. Пригласить на бал герцогиню было необходимо, но после оскорбления на охоте Аграфена Петровна, вероятно, постарается избежать всякой встречи с нею и ради этого, может быть, нарочно скажется больною. Бестужев положительно терялся. Сделать бал без хозяйки, так, чтобы Аграфена Петровна не выходила к гостям, – ему казалось неловко; а главное – он знал, что тогда всем будет скучно, о гостях придется заботиться ему самому, и он не будет иметь времени для кое-каких разговоров с нужными, важными в Митаве людьми, которые съедутся к нему. Если же вовсе не сделать бала – выйдут большие неприятности, потому что об этом наверное донесут в Петербург, и государь может остаться недоволен.

Петр Михайлович решился поговорить с дочерью.

Он пришел к ней, в ее маленькую гостиную и застал Аграфену Петровну с покрытою теплым платком головою.

– У меня страшно голова болит, – начала она, – просто места не найду...

– Я же предлагал тебе послать за доктором, – сказал Бестужев, опускаясь на кресло. – А мне очень нужно, чтобы ты здорова была, – быстро добавил он, заметив нетерпеливое движение дочери при упоминании о докторе.

Она вопросительно взглянула на отца.

– Петров день близко, – пояснил он, – наш ежегодный бал не может состояться без тебя; нужно, чтобы ты была здорова...

– Я и буду здорова! – несколько удивленно ответила Аграфена Петровна, – будьте покойны; напротив, мне нужно теперь какое-нибудь развлечение...

– Ну, вот и прекрасно! – я уверен, что ты будешь веселиться... гостей будет много. Само собою разумеется, нужно пригласить всех.

Бестужев нарочно подчеркнул слово «всех». Аграфена Петровна как будто не поняла.

– Ну, конечно! – подтвердила она.

– Оберратов с женами, баронские семьи, бургомистра, наших офицеров, герцогиню, – перечислял Бестужев, внимательно косясь на дочь.

Она с улыбкой кивала головою в подтверждение его слов.

У Петра Михайловича отлегло от сердца.

– Значит, тебе не претит, снова встретиться с Анной Иоанновной? – недоверчиво спросил он, не скрывая, однако, своего удовольствия.

– Разумеется, не претит! Что ж я могу против герцогини? – подчеркнула в свою очередь Бестужева. – Нам, конечно, не приходится с нею ссориться, раз мы тут на холопском положении.

– Перестань, Аграфена! – остановил ее отец.

– Да ведь я согласна на все, чего же вы хотите больше?... Устраивайте бал, я развлекусь, мне все равно – пусть тут все будут, я согласна...

– Ну, хорошо, хорошо!.. А какое же платье ты наденешь на бал? Сшей новое. Если нужно денег – возьми, сколько хочешь, – предложил Бестужев, желая баловством вознаградить дочь за ее покорность.

– Я уже подумала об этом, – улыбнулась она. – У меня есть все, платье я устрою себе; а вот если хотите сделать мне удовольствие...

– Господи! Да все, что хочешь... спроси только!

– Дайте мне денег на материю для этой мебели: ее нужно обтянуть заново, посмотрите, как она обтрепалась.

Бестужев оглядел комнату. Мебель действительно показалась ему очень потертой, и он удивился, как не замечал этого раньше.

– Ну, что ж, я сегодня же велю управляющему, чтобы он пришел к тебе за приказанием, – сказал Петр Михайлович, вставая и, простившись с дочерью, тотчас отправился в замок приглашать герцогиню на бал.

Едва успел уйти Петр Михайлович из гостиной дочери, как она позвала к себе свою молоденькую немку, горничную Розу, которая была всегда доверенным ее лицом и исполнительницей всех приказаний.

– У нас будет скоро бал, Роза, – сказала Бестужева.

– Это очень весело... и госпожа будет веселиться, – ответила та, приседая.

– Вы мне нужны будете для одного дела, Роза.

– Я всегда к услугам моей госпожи.

– Вот что: мне необходимо знать, в каком платье будет герцогиня у нас на балу, и вы это можете узнать мне, я думаю?

– Это – не мудреное дело, – рассмеялась Роза, – это очень легко узнать: у нас есть близкие приятельницы в штате герцогини... Госпожа может быть покойна.

Аграфена Петровна действительно была покойна; она знала, что на Розу можно вполне положиться.

Отпустив горничную, она задумалась. Недавние события вспомнились ей во всех своих подробностях. И странно, первое место в этих подробностях занимало не унижение, перенесенное ею, не подавленное чувство стыда и горечи, которое, впрочем, далеко еще не изгладилось, да и не могло изгладиться; нет, на первом месте было воспоминание о Волконском. Его взволнованное лицо, сначала несчастное, потом сияющее, как живое, стояло перед нею.

«Что за глупости! – поморщилась она – Зачем я думаю об этом?»

И она постаралась заняться подробным обсуждением своего будущего бального наряда, но вдруг поймала себя на мысли о том, понравится ли ее платье князю Никите, и опять задумалась о нем.

А Волконский в это время ходил большими шагами по кабинету Черемзина, круто поворачиваясь по углам на каблуках. Черемзин сидел у окна и улыбался хитрою, дружески-насмешливою улыбкою. Сегодня утром, вернувшись из города, он сказал Никите Федоровичу, что теперь только и разговоров, что о недавней «охоте» и, между прочим, о нем, Волконском.

– Я-то тут при чем? – спросил он.

– Веди себя, мой друг, впредь иначе, умеи сдерживаться! – наставительно пояснил Черемзин. – Ты думаешь, я не видел вчера истории с кувшином меда?

– Какой истории с кувшином? – спросил упавшим голосом Волконский, отлично понимая, про что говорят ему.

– Ты знаешь! – ответил Черемзин. – Неужели ты думаешь, никто не заметил, что ты совсем влюблен в Бестужева?

Эти слова: «влюблен в Бестужева», до того показались Волконскому низменными и пошлыми в сравнении с тем чувством, которое он испытывал теперь, что кровь с силою прилила ему в голову, и злоба сдавила горло.

– Вздор, неправда! – крикнул он. – Никто не смеет говорить так! По какому праву?

Черемзин пожал плечами.

Волконский несколько раз нервно прошелся.

– Я повторяю тебе, что это – вздор, – заговорил он более спокойным голосом, – этого не может быть.

– Отчего же не может быть? Напротив, это вполне просто и естественно. Мы все, кажется, влюблены тут в нее, только ты, должно быть, серьезнее других... потому что Аграфена Петровна...

– Ну?... – перебил Волконский.

– Кажется, сама к тебе очень... расположена, – проговорил Черемзин, как бы подыскивая подходящее выражение.

– Как? И это говорят? – воскликнул Никита Федорович, чувствуя, будто пол начинает колыхаться под его ногами, и вся комната вертится.

– Да ведь она ни к кому из нас так не относится...

– Вздор, вздор! – крикнул опять Волконский. – Ничего этого нет... это невозможно.

– Ну, сознайся, голубчик: ты влюблен?

– Нет.

– И не заметил, что она именно тебя позвала вчера налить ей меду?

– Нет, не заметил.

– И вполне к ней равнодушен?

Дальше Волконский лгать не мог.

– Да что ж это? Допрос, что ли? – спросил он. – Тебе какое дело?

– А, видишь ли, я должен сообщить тебе одно известие, которое тебе может быть неприятно, если наши предположения справедливы.

– Какое известие? – испугался Никита Федорович.

– Да ведь ты говоришь, что это – неправда, значит, пугаться нечего.

– Какое же известие? Говори, не тани, ради Бога!

– Из Петербурга пришел указ...

– Обо мне? – спросил Волконский, побледнев.

– Да. Велят тебе ехать дальше. Отсюда, должно быть, донесли, что ты здесь загостился вопреки царскому приказанию.

– Господи! – мог только выговорить Никита Федорович и закрыл лицо руками.

– Да чего же ты? Ведь даже за твое послушание на тебя не сердятся... поезжай! – успокоительным голосом проговорил Черемзин.

Князь Никита только рукою махнул.

– Ну, как же ты не влюблен? Ну, как же? – смеясь, начал опять Черемзин. – Да успокойся! Я лишь поймать тебя хотел; никакого указа нет... все это я рассказал так только, чтобы ты попался.

Никита Федорович отнял руки от лица. Его испуг и ужас были так сильны, что он готов был даже простить теперь Черемзина за то, что тот солгал ему, лишь бы его известие оказалось неправдой.

– Да ты теперь врешь или прежде соврал? – спросил он, едва приходя в себя.

– Прежде, прежде соврал; право, никакого указа нет. Напротив, могу сообщить тебе даже приятную новость: у входа в замок я встретил Бестужева; он приезжал сюда приглашать

герцогиню к себе на бал двадцать девятого и позвал тоже меня с тобою. Желаю, голубчик, успеха; советую танцевать польский с Аграфеной Петровной, и будь уверен, что я попусту болтать ничего не стану, – заключил Черемзин, подходя к Волконскому и дружески кладя ему руки на плечи.

VI. Бал

В день бала в доме Бестужева работа кипела с утра. В саду настилали пол для танцев, строили помост для музыкантов и готовили иллюминацию. В залах расставлялись столы для угощений, среди которых должна была появиться модная новинка – лимонад. В маленькой гостиной у Бестужевой стучали молотками и ползали немцы-рабочие, спешившие к сроку околотить мебель новою материей.

– И зачем ты это затеяла? – сердился теперь Петр Михайлович, приходя к дочери. – Не поспеют они.

– Пospеют, – успокаивала Аграфена Петровна.

Она сидела пред зеркалом, в белом пудермантеле, терпеливо отдав свою голову в распоряжение Розы, которая причесывала ее с помощью служанок.

– А ты не ошиблась, Роза? У герцогини будет платье именно такое, желтое?

– Я принесла моей госпоже даже образчик. Госпожа может быть спокойна.

Лицо Аграфены Петровны было весело и по-прежнему оживилось. Она, казалось, так была в духе сегодня, что даже не сердилась на обычную медленность Розы, с которой та устраивала сложную прическу. Правда, на этот раз прическа ей особенно удавалась и шла лицу Аграфензы Петровны.

Роза, как художник, любуясь своим произведением, не торопилась. Наконец, она вплела поверх высоко взбитых волос Аграфены Петровны несколько крупных зерен жемчуга, и прическа была готова.

Аграфена Петровна встала. Белая короткая юбка высоко открывала ее маленькие ножки, обутые уже по-бальному – в светло-голубые атласные туфельки и такие же шелковые чулки, присланные ей недавно из Ганновера братом; он же прислал ей светло-голубую материю, легкую и мягкую, из которой было сшито сегодня ее платье с длинным королевским шлейфом.

Петр Михайлович уже несколько раз подходил к дверям уборной дочери и торопил ее.

– Все уже готово, – говорил он, – сейчас гости начнут съезжаться, пора.

Аграфена Петровна тем не менее не спешила. Платье уже было надето на ней. Две горничные возились со шнуровкой. Роза осматривала и поправляла складки.

– Настоящая княгиня! – проговорила она, сложив руки и смотря на свою госпожу.

– Что? – переспросила Аграфена Петровна.

– Eine Fürstin, eine Fürstin!¹ – повторила Роза. – Иначе и быть не может.

Аграфена Петровна прищурилась, и самодовольная улыбка скользнула по ее тонким губам. Она была довольна и нарядом, и собою, и сегодняшним днем.

Аграфена Петровна прошла через маленькую гостиную, которая теперь была уже заново обита, и направилась в зал, где начинали собираться гости. Она оглядела их и прежде всего заметила, что Волконский еще не приезжал.

«Зачем я опять вспомнила именно о нем? – подумала она, стараясь отогнать от себя эту мысль. – А все-таки его нет, – снова настойчиво пришло ей в голову. – Пустяки!» – решила она.

Волконский несколько опоздал из-за Черемзина, с которым должен был ехать вместе из замка и который одевался слишком долго. Он причесывался, душился, мазал голову какою-то особенной эссенцией и до того надоел князю Никите, что тот пригрозил, что уедет один; лишь тогда, наконец, Черемзин оторвался от зеркала.

¹ Княгиня, княгиня (нем.).

Бал не начинали до приезда герцогини. Аграфена Петровна с дамами сидела в маленькой гостиной. Мужчины ходили по остальным комнатам в ожидании Анны Иоанновны.

Наконец, суетливый дворецкий, ловко пробираясь между гостями, отыскал Петра Михайловича и предупредил его, что на углу показался экипаж герцогини. Бестужев пошел встречать ее на крыльцо.

Через несколько минут Анна Иоанновна в ярко-желтом пышном платье, нарочно сшитом для нынешнего дня и стоившем долгих расчетов и выгадываний, любезно отвечая на низкие поклоны расступившихся пред нею гостей, прошла через зал в гостиную, где ждала ее Аграфена Петровна, которая, отговорившись болезнью, не пожелала встретить герцогиню у двери.

Бестужева стояла посреди своей маленькой гостиной, прямая и гордая, с торжественной улыбкой на губах.

«Боже мой, как хороша!» – подумал про нее Волконский, подойдя к дверям вслед за герцогиней.

Анна Иоанновна вошла в гостиную твердою, решительною походкой, чуть потряхивая головою, с выражением: «Я знаю сама, что мне делать».

Аграфена Петровна и другие дамы низко поклонились ей. Она ответила кивком головы, осмотрелась кругом, и какой-то внезапный испуг выразился на ее лице. Сначала она вдруг покраснела, потом побледнела, как полотно, и губы ее дрогнули. А Бестужева нежным, вкрадчивым голосом говорила ей в это время:

– Милости просим, ваша светлость, не угодно ли сесть, вот кресло, вам здесь будет удобнее.

Роза оправдала доверие своей госпожи. Образчик, который она достала, был действительно от платья герцогини – и мебель гостиной оказалась обитой точь-в-точь от одного куска, тою же самою ярко-желтою материей, из которой было сшито ее платье.

Неудержимая усмешка цвела кругом, на лицах всех дам. Столпившиеся у дверей мужчины тоже едва сдерживали смех, готовый вырваться у них, а в задних рядах смешливый толстенький барон вовсе не мог удержаться и фыркнул. Бестужев стоял бледный, не зная, что ему отвечать. Одна только Аграфена Петровна как будто ничего не замечала и наивно-участливо смотрела на герцогиню, страшно изменившуюся в лице и готовую упасть.

– Воды!.. воды! – послышался шепот кругом. – Герцогине дурно... воды, скорее!

Принесли воду, хотели усадить Анну Иоанновну, но она, несмотря на свою дурноту, сверхъестественным усилием держалась на ногах, не желая сесть в «горевшее, как ее платье, словно золото», ярко-желтое кресло гостиной. Под руки провели ее до кареты, и она вне себя уехала домой, чтобы ни минуты больше не оставаться в доме Бестужева. Аграфена Петровна жестоко отомстила ей.

Едва успела уехать герцогиня, и провожавший ее Бестужев не вернулся еще в зал, как по приказанию молодой хозяйки грянули литавры и трубы, и гости попарно, в предшестве музыкантов, стали спускаться в сад, где должны были происходить танцы на устланной нарочно для этого деревянным полом площадке, украшенной кругом гирляндами, щитами и флагами.

Войдя на площадку, мужчины и дамы разделились. Нужно было выбрать «царицу бала».

– Аграфену Петровну, ее, только ее! – крикнул Никита Федорович, задыхаясь от волнения и блестя глазами, готовый, кажется, тут же уничтожить всякого, кто бы посмел возразить против этого.

– Ну, конечно, – подтвердил Черемзин, – кого же, как не ее?

– Да, да, ее... Аграфену Петровну! – говорили остальные, и бронзовый золоченый жезл и перчатки – обычные знаки достоинства «царицы бала» – были торжественно поднесены Бестужевой.

В самом деле она, нежная, милая, со своим жемчугом, лежавшим в ее волосах в виде короны, выделялась из всех, точно царица.

Она сделала несколько шагов вперед. Теперь ей следовало выбрать маршала.

Мужчины длинною вереницей стали подходить к ней.

Первым подошел какой-то немец, очень напыщенный, древнего рода и опустился на одно колено, смело протягивая руку к жезлу; Бестужева махнула перчаткой. Немец встал, обиделся и отошел в сторону.

«Ну, конечно!» – подумал Волконский.

Он почему-то был очень спокоен. Ему казалось, и он не сомневался в этом, что жезл будет передан именно ему, Волконскому. Откуда явилась такая уверенность, он не мог дать себе отчет, но оглядевшись, невольно почувствовал, что многие согласны с ним, и что наверное только он будет выбран маршалом.

За немцем следовал драгунский офицер, за офицером – опять немец, потом еще кто-то, потом толстяк-барон, но Бестужева всем им махала перчаткой, и они удалялись в сторону с огорченным лицом.

Наконец, очередь дошла до Никиты Федоровича. Он, не теряя еще своей уверенности, опустился на колено, тут только замечая, что ноги его дрожат. И вдруг всякая надежда оставила его.

«Нет, куда мне... не меня!» – говорил он себе, взглядывая на Бестужеву и испытывая неизъяснимое наслаждение стоять пред нею на коленях.

Аграфена Петровна лукаво, как бы в нерешимости, посмотрела ему прямо в глаза, и на ее лице появилась совсем особенная улыбка, в которой отразилось все счастье влюбленного в нее Волконского. Правая рука ее, державшая жезл, чуть шевельнулась.

«Неужели? – с замиранием сердца подумал Волконский, но Бестужева махнула перчаткой, и свет померк в глазах Никиты Федоровича. – И откуда я это выдумал? – рассуждал он – Откуда? Зачем ей меня... и, Господи! И зачем Черемзин говорил мне, что она... Нет! Нет, этого быть не может; нет, теперь уже все кончено!»

Черемзин подошел к «царице» сейчас же за Волконским. Никита Федорович видел, как он опустился на колено, как Аграфена Петровна протянула ему жезл, дала поцеловать свою руку и приложила два пальца к его щеке, исполняя старинный обряд посвящения в рыцари. Все это было на его глазах.

Музыка заиграла польский. Торжествующий Черемзин, слегка покачиваясь всем корпусом и развевая полы своего богатого атласного кафтана, повел Аграфену Петровну в первой паре в такт, под мерные звуки польского.

Волконский остался в числе немногих молодых людей, которым не хватило дам. Но он, разумеется, и не желал танцевать. Теперь уже ничто не нравилось ему здесь. Он твердо решил сейчас же уехать домой, как только кончится этот польский. Мало того, он был уверен, что завтра же уедет навсегда из Митавы, будет заниматься «делом» и ни за что не встретится с Аграфеной Петровной. Пусть она веселится с Черемзиным, с кем угодно, но он, князь Никита, забудет ее как можно скорее. Какое, собственно, было «дело», которым он собирался заняться, – он, разумеется, не знал хорошенько; но он был уверен, что то, что он сделает, будет очень важно и нужно. Ему по крайней мере казалось так.

Аграфена Петровна в это время, в паре с Черемзиным, уже два раза прошла мимо Волконского, и теперь, делая третий круг, снова приблизилась к нему. Она смотрела прямо на него с задорною, вызывающею улыбкой. Он опустил глаза, стараясь в свою очередь улыбнуться как можно равнодушнее и не глядеть на нее. Но Бестужева оставила руку Черемзина

и протянула ее Волконскому. Черемзин, как ни в чем не бывало, как будто он ничего не терял и не выигрывал, принял даму следующей пары и повел ее, по-прежнему покачиваясь и развевая полы кафтана. Никита Федорович пошел впереди с царицей бала.

Он чувствовал в своей руке маленькую, тонкую руку Аграфены Петровны, и ее прикосновение заставляло в нем сердце неудержимо биться, грудь его наполнялась восторженным трепетом, мысли путались и переходили наяву в какие-то чарующие, волшебные грезы.

«Да ведь это – она, сама она, со мною рядом... Боже, как хорошо!.. Прелесть моя», – думал Волконский, напрасно стараясь держать прямо и ровно свою непослушную, дрожащую руку.

– Что с вами? – спросила Бестужева.

– Не знаю, – ответил Волконский, – почему я знаю...

Он, не теряя такта, ускорил шаг, но заговорил тише, так тихо, что Аграфена Петровна могла лишь догадываться о том, о чем он говорил, по движению его губ; и она догадывалась и понимала.

– А вы загостились в Митаве, – снова заговорила она. – Ведь вы проездом здесь?

– Не знаю... право, не знаю... Я знаю теперь лишь одно, что никогда не уеду отсюда...

Она взглянула на него своими ясными, милыми глазами, как бы спрашивая этим взглядом: «Отчего?»

«Оттого, что я люблю тебя!» – чуть не вырвалось у князя Никиты, но он сдержал себя и, ничего не ответив, только глубоко вздохнул.

Аграфена Петровна улыбнулась и ниже опустила голову.

Петр Михайлович Бестужев, проводив герцогиню, вернулся к гостям рассерженный. Он отлично понимал, что его дочь нарочно устроила себе торжество в заново обитой гостиной, и боялся, как бы это торжество не стоило ему слишком многого, если взбешенная Анна Иоанновна напишет в Петербург жалобу. Он тревожился и сердился, но волей-неволей должен был при важных гостях сдерживать себя и не показывать вида, что недоволен чем-нибудь. Напротив, он старался быть как можно любезнее с оберратами, заставлял себя занять приятным разговором богатых баронов, мало-помалу разошелся сам и, наконец, выпив стакан крепкого меда, совсем развеселился.

В сад на террасу он вышел, улыбаясь и позабыв на время недавнюю неприятность. Со ступенек террасы была видна разукрашенная площадка, где происходили танцы, и веселье, царившее там, гром музыки и причудливая, но красивая, движущаяся пестрота толпы танцующих приятно поразили его. Воздух был насыщен ароматом цветов, чист и спокоен; деревья, точно на картине, стояли недвижимы и тихи.

Разглядывая танцующих, Бестужев сейчас же заметил среди них свою дочь, которая шла в первой паре. При виде ее в нем было снова проснулось недовольство ее поступком с герцогинею, но он постарался сдержать себя.

«С кем это она?» – подумал он, стараясь рассмотреть, с кем танцует Аграфена Петровна, и, наконец, узнал Волконского.

По сияющему радостному лицу князя Никиты и в особенности по смущению дочери, которое не могло скрыться от отцовского глаза, Петр Михайлович догадался, что между ними что-то происходит теперь, что и князь, и его дочь не совсем равнодушно ходят в паре под звуки этого польского. И вдруг он вспомнил недавнюю охоту, и та тоже показалась ему подозрительною.

«Так вот оно что! – решил Бестужев. – Ну, хорошо, посмотрим...»

В нем закипели досада и гнев против дочери. Положим, он никогда не был приверженцем старых московских порядков: сына весьма охотно отдал на воспитание в Берлин и радовался, когда тот, окончив там курс, поступил на иностранную службу; сам он, наконец, служил за границей и, давно став европейским человеком, держал дочь свободно, вовсе не по-

московски. Но теперь, когда на самом деле, видимо, происходило то, о чем он проповедовал так часто на словах, в нем невольно поднялось скрывавшееся где-то на дне души чувство слепой отцовской власти над дочерью, и он возмутился ее самостоятельностью, которую сам же допустил и которой не стеснялся никогда до сих пор. Он вспомнил свою собственную женитьбу, вспомнил, как еще сравнительно недавно девушка не смела смотреть даже на жениха, а не только на постороннего молодого человека – и вдруг его родная дочь вот так свободно разговаривает с приезжим князем Волконским, у них, быть может, решается что-нибудь, а он, отец, ничего не знает, и он большими, тяжелыми шагами спустился с лестницы и направился к площадке.

В эту минуту как раз кончился польский, и пары с глубоким поклоном расходились в разные стороны.

Бестужев, сдвинув брови и сердито опустив углы губ, подозвал к себе дочь.

– Отчего ты танцуешь с Волконским? – спросил он, не скрывая своего гнева.

Аграфена Петровна удивленно взглянула на него.

– Надо же с кем-нибудь танцевать, – ответила она, – для того и бал.

– Хорошо... Но больше ты не будешь танцевать с ним во весь вечер. Слышала?

– Я избрана царицей бала, – возразила с улыбкой Аграфена Петровна, – и здесь, по закону и обычаю, все в моей власти: я могу делать все, что хочу, и танцевать, с кем мне угодно.

Она была права – обычай был действительно таков. Петр Михайлович ничего не мог сказать ей; его родительская власть здесь не имела силы.

– Черт возьми ваши обычаи и эти танцы! – процедил он сквозь зубы и на весь вечер остался уже молчаливый и неприветливый, с нетерпением ожидая, когда, наконец, разъедутся гости.

Черемзин, как маршал, распоряжавшийся танцами, велел играть менуэт и стал устраивать пары. Аграфена Петровна танцевала менуэт опять с Волконским.

VII. Отец

Проводив последнего гостя, Бестужев, несмотря на поздний час, направился прямо в уборную дочери. Аграфена Петровна, утомленная весельем этого дня, сидела у зеркала в большом мягком кресле, медля позвать своих служанок. Она желала остаться несколько минут теперь одна, сама с собою, после всего этого бального шума, пестроты, суетни и блеска. Она откинулась на спинку кресла и сидела так, не меняя положения и наслаждаясь тишиной и покоем.

Отец вошел быстро, не постучав предварительно в дверь, и большими шагами приблизился к креслу.

Аграфена Петровна вздрогнула.

– Господи, как вы меня испугали! – проговорила она.

– Спасибо, Аграфена Петровна, зело тебе спасибо! – начал тот сердитым голосом. – Скажи, пожалуйста, что все это значит?

Бестужева не была удивлена ни вопросом, ни вообще неудовольствием отца. Она знала заранее, что дело не обойдется без серьезного объяснения, но не ожидала того тона, которым говорил теперь Петр Михайлович. Он никогда не обращался так с нею.

– Простите, батюшка, но сегодня я просто не могу говорить: я устала, нездоровится мне, завтра...

– Если я говорю, так не завтра, а сегодня! – резко перебил Бестужев. – Да изволь встать, когда говоришь с отцом! – вдруг крикнул он и отвернулся.

Аграфена Петровна испуганно подняла свои прекрасные, выразительные глаза на отца, недоумевая, что сделалось с ним, и тихо встала с кресла, опустив голову и покорно сложив руки, готовая теперь слушать и подчиняться ему.

Эта ее покорность, – напускная покорность, как воображал Бестужев, – только больше взбесила его. Он хотел, чтобы лучше она рассердилась, вспылила, расплакалась, наконец, хотя он терпеть не мог слез, только бы она дала ему повод вылить, в потоке укоризненных слов, накипевшую в его груди злобу. Но она стояла пред ним, тихая и милая, в своем величественном наряде, который удивительно шел к ней.

– Извольте ж отвечать, сударыня! – проговорил, едва сдерживаясь, Петр Михайлович.

– Да в чем же я виновата? – произнесла, вполне овладев собою, Аграфена Петровна.

– Мебель... мебель – это раз! – снова закричал Бестужев, раздражаясь уже резким звуком собственного голоса и в особенности тем, что не может сдержать гнев.

– Это – не более, как случайность; почем же я могла знать, что это так выйдет?

– Знаю, все это я знаю тоже, что не случайность... меня-то, матушка, не проведешь!.. Ты вот тут думаешь о своем самолюбии, а мне приходится расплачиваться за это, – горячился Петр Михайлович. – Что ты думаешь, *она*, – он произнес это слово так, что было ясно, что он понимает герцогиню, – не напишет теперь обо всем в Петербург, не станет жаловаться?... Легкая штука – нечего сказать! И помни мое слово, даром тебе эта мебель не пройдет... Вот увидишь, когда-нибудь да вспомнится... отомстит она тебе!.. Ну, а затем Волконский...

– Что же Волконский? – спросила вдруг Аграфена Петровна.

Бестужев остановился, подыскивая выражение, которое соответствовало бы тому, что он хотел сказать.

– Что у тебя было с ним, а?

Она не ответила.

– Что у тебя было с ним? – повторил Петр Михайлович.

– Решительно ничего... Что ж, я только танцевала... я могла сделать это. Тут не было ничего дурного...

Бестужев закусил губу.

– Ах, знаю я это все! – повторил он. – Да ведь ты же понимаешь... ведь видишь, что он без ума от тебя...

– Если вы все видите, так должны и об этом знать, – возразила она, пристально взглядывая на отца, ожидая, что он ответит.

– Та-ак! – протянул он. – А если, по-моему, и сама ты...

– Что я сама?... Ну, это – неправда, неправда, ничего я сама... для меня Волконский решительно как все другие, – волновалась Аграфена Петровна, а в голове у ней мелькало в это время: «Господи! неужели заметно?... неужели я в самом деле?.. да нет, нет!...» – Этого не может быть, – продолжала она вслух! – Кто вам сказал это? Или вы сами заметили?

– Это все равно, но если это так, то я тебя предупреждаю, что этого никогда не будет, я не позволю. Слышишь? не позволю... Я тебе дам без отца, никогда не спросясь... замуж выходить!.. Ишь, выдумала... волну забрала! Так я сумею привести тебя на путь истинный!

И Бестужев, круто повернувшись, ушел, застучав каблуками и не простившись с дочерью.

Аграфена Петровна долго оставалась пред зеркалом, так, как оставил ее отец. Мысли с особенною, необычайною быстротою менялись в голове. Гнев отца, торжество над герцогиней, невыясненное до сих пор и вдруг получившее теперь точно какую-то определенную форму чувство к Волконскому, – все это волновало ее, тревожило, не давало успокоиться. Она забыла об усталости и чувствовала, что сон не придет к ней... Грудь ее точно была стеснена чем...

«Шнуровка, – пришло ей в голову, и она, подумав о своем наряде, оглядела себя в зеркало с ног до головы. – „Eine Fürstin – настоящая княгиня“», – вспомнила она слова Розы.

Аграфена Петровна позвала Розу, велела раздеть себя и подать свой широкий шелковый шлуппер.

– Я еще не лягу в постель, – пояснила она и, сев за свой маленький письменный стол, тщательно очинила перо и начала письмо к брату в Ганновер.

Она по-немецки писала ему о перемене в отце, об его вспышке и о том, что он вдруг выразил желание стать тираном ее души в противность тому просвещению, которое столь свойственно всему роду Бестужевых. О Волконском, разумеется, в письме не было речи. Да и не о нем теперь беспокоилась Аграфена Петровна. Ей важно было выяснить при помощи брата, неужели, если действительно она полюбит кого-нибудь, то отец может положить запрет на ее свободную любовь, на лучшее чувство ее души?

Анна Иоанновна в этот вечер тоже долго не ложилась спать и тоже писала. Она писала медленно, постоянно морщась и с невероятным трудом обдумывая «штиль» своего письма. Вернувшись домой, она быстро скинула свое ярко-желтое платье и тут же подарила его камеристке, потом прогнала всех из комнаты и села писать прямо к дяде-государю. Она долго перечеркивала, переписывала и переделывала, но, составив, наконец, слезную жалобу на Бестужева царю Петру, перечитала ее и изорвала. Она положительно не могла написать так, как следовало. Все письма к государю сочинял ей Петр Михайлович, и теперь некому было заменить его.

«Господи, что же делать мне? – спрашивала себя Анна Иоанновна. – Матушке написать, она – моя единственная защитница, – решила она, и уже без помарок и перечеркивания, написала многословное послание к царице Прасковье, в котором жаловалась на терпимые ею в Курляндии притеснения и просила, чтобы матушка умолила своего деверя-царя отозвать отсюда Бестужева. – Ну, Петр Михайлович, посмотрите вы с вашей Аграфеной теперь! Уж я терплю-терплю, а потом добьюсь своего, посмотрим... Заговорите вы, как убедут вас отсюда!» – думала она, заранее радуясь тому, как «разжалуют» Бестужева, в чем она не сомневалась, надеясь, что государь ни в чем не откажет своей покорной золовке.

На другой же день Петр Михайлович узнал, что герцогиня послала уже рано утром секретного гонца в Петербург с собственноручным письмом к матушке-царице Прасковье. Цель этого послания и содержание письма были ясны Бестужеву.

Когда он по обыкновению приехал к герцогине утром с докладом, та не приняла его. Дело выходило серьезным, так как Анна Иоанновна, видимо, начала открытую борьбу, и Петр Михайлович задумался, не зная на этот раз силы противника. На такой явный разрыв с ним герцогиня могла решиться, только заручившись твердою поддержкою в Петербурге, а Бестужев знал, что такая поддержка не возможна для нее. Он выждал несколько дней, не одумается ли Анна Иоанновна и не пришлет ли за ним; но она не присылала. Тогда он еще раз попробовал явиться в замок, но его опять не приняли. Очевидно, герцогиня не боялась его.

Петр Михайлович дома ходил сердитый, не в духе, упрекал дочь за случившееся, и его обхождение с нею совершенно изменилось. В обществе он старался казаться равнодушным и веселым, но многие замечали, что это равнодушие и веселье служили только маскою для того беспокойства, от которого не был в силах отделаться Бестужев.

Анна Иоанновна, в ожидании ответа из Петербурга на свое послание, переехала на житье в Вирцау, и – странное дело – митавский замок с отъездом хозяйки не только опустел, но, напротив, в нем точно проснулась жизнь. Население замка, не стесняемое теперь присутствием герцогини, оживилось, в саду появились гуляющие, на дворе показалась прислуга, в окнах дольше обыкновенного по вечерам блестели огни, и только покои герцогини темнели по-прежнему.

Волконский с утра выходил в сад, не боясь уже встретиться с герцогиней, и подолгу гулял там со *своею* книжкой.

Он находился теперь в самом блаженном состоянии счастливого влюбленного и, наслаждаясь воспоминаниями бала, думал только об Аграфене Петровне и искал с нею встречи.

Черемзин рассказал ему, что на днях будет храмовый праздник в церкви Освальдского замка, где жил старый граф Отто, и что в этот день вся Митава бывает у него в гостях. Князь Никита сейчас же подумал, что наверно там будут Бестужевы и что хорошо было бы попасть туда, если это возможно.

Замок Освальд, расположенный недалеко от Митавы, вверх по реке Аа, на левом ее берегу, на небольшом холме, был основан в 1347 году рыцарем Ливонского ордена Освальдом и сохранил все свое прежнее величие, несмотря на пронесшиеся над его стенами века. Народное движение, реформация и, наконец, распадение ордена прошли для него бесследно, и в начале XVIII столетия живший там бездетный старец граф Отто – последний Освальд – оставался верным католиком и ревниво охранял свой замок от всякого новшества. Граф никого не принимал и сам не выходил за черту своих окопов. Народ про него рассказывал басни; говорили, что он – алхимик и чародей, а в Митаве считали его просто выжившим из ума сумасбродным стариком, хотя и отзывались о нем с уважением.

Замок со своими высокими стенами, рвами, башнями и бойницами, с подъемным, гремевшим цепями мостом, имел снаружи странный, таинственный вид и казался необитаемым. Только в утренний час обедни из-за этих стен раздавались мерные удары колокола.

Старый граф жил у себя, как хотел, никому не мешая, и не позволял, чтобы мешали ему. Он рабски придерживался дедовских обычаев, завещанных ему отцом, на которого был очень похож своими причудами и странностями.

В обыкновенное время ворота замка никогда не растворялись для случайного посетителя или гостя. Раз только в год, в престольный праздник замковой церкви, эти ворота были отворены для всех желающих, и тогда всякий, кто хотел, – и знатный, и простолюдин – мог идти в гости к старому графу. Для народа устраивалось угощение на дворе, а благородных гостей провожали в столовый зал к графу.

Таким образом, попасть туда Волконскому было очень легко и возможно.

VIII. Старый замок

– Да вставай, брат, вставай!.. Не то опоздаем, – будил давно умытый, причесанный и почти одетый князь Никита лежавшего еще в постели Черемзина.

– А-а-а, который час? – зевнул Черемзин.

– Скоро шесть...

Было еще половина шестого утра, но Волконский нарочно сказал больше.

– Так рано еще – успеем, – сонным голосом отозвался Черемзин и повернулся к стене.

– Ну, что мне с тобой делать? – беспокоился Никита Федорович. – Где же мы успеем? Ты одеваться будешь полтора часа по меньшей мере... Да сам ты вчера говорил, что до Освальда час езды будет, значит, приедем туда в половине девятого, а нужно быть в восемь.

– Значит, приедем в половине девятого, – согласился Черемзин, садясь на постели, потягиваясь и мигая еще слипавшимися от сна глазами. – Знаешь, князь, – вдруг, сообразил он, – мы вот что сделаем – вовсе не поедем...

Волконский только рукой махнул.

– Ведь все равно опоздали, – продолжал Черемзин.

– Да встанешь ли ты, может, и не опоздали.

– Да ведь ее не будет...

– Кого ее?

– Не знаешь? – и Черемзин лукаво прищурил правый глаз.

– Послушай, наконец... – начал было уже рассердившийся князь Никита.

– Ты погоди злиться. Я тебе приятную новость могу сообщить.

– Ну? – спросил, меняя тон, Волконский. – Да, верно, опять врешь что-нибудь.

– Нет, не вру. Вчера я положительно узнал, что Бестужева отзывают отсюда.

– Ну, что ж из этого?

– Ну, значит, он будет в немилости, лишится своего положения, может быть, состояния. Герцогиня вот уже сколько времени не принимает его, словом, Бестужев накануне падения.

– Так что ж тут приятного?

– Для Петра Михайловича, конечно, ничего, но для тебя это очень хорошо.

– Да что ты, не проснулся, верно? Что ты за вздор говоришь?

– Нет, не вздор, голубчик. Ведь ты Аграфену Петровну любишь?

Волконский молчал.

– Любишь ты ее или нет, я тебя спрашиваю?

– Ну, хорошо... Дальше что?

– А если ты ее любишь, то ни на богатство, ни на протекцию ее отца внимания не обращаешь. Значит, то, что казалось невозможным или трудным, когда Бестужев был в силе, станет просто и даже очень достойно с твоей стороны, когда он впадет в немилость...

– То есть?

– Да сватовство к Аграфене Петровне! – отрезал вдруг Черемзин и, спустив ноги с кровати, быстро стал одеваться.

На этот раз он окончил свой туалет довольно поспешно, и не было еще половины седьмого, когда они выехали верхом, быстрою рысью, за город.

Слова Черемзина всю дорогу мучили Волконского. Он не мог не сознаться, что эти слова были счастливою и чудною истиной, но, несмотря на это, для него Аграфена Петровна все-таки казалась так недостижимо прекрасна, что то счастье, о котором говорил Черемзин, представлялось неземным, нездешним и потому для простого смертного невозможным.

– Фу! Я с ума сойду! – повторял он, схватываясь за голову.

Они подъехали к замку как раз вовремя, когда только что загудел церковный колокол, и ворота отворились.

Толпа народа, ожидавшая этой минуты, повалила в ворота, пропуская вперед господских лошадей. Все торопились, потому что с последним ударом колокола ворота снова затворились и в продолжение всего дня, до вечера, нельзя было ни войти в замок, ни выйти из него.

Узенький первый двор замка, стиснутый между двумя почти лишенными окон стенами, был вымощен плоскими квадратными камнями, между которыми пробивалась сорная трава, и казался пустынным и неприветливым. Но за вторыми – башенными – воротами открывалась широкая обсаженная деревьями и усыпанная песком площадь, где готовилось угощение для престопадаря.

Обогнув эту площадь, благородные гости подъезжали к длинным ступеням главного подъезда, у дверей которого вытянулись и застыли, словно каменные, держа наотмашь свои алебарды, два латника в старинном наотмашь и блестящем на солнце вооружении.

Волконский слез с лошади и, отдав ее конюху, стал вслед за другими подыматься по лестнице в покои графа.

Знакомый теперь князю Никите митавский замок Кетлеров, где жила герцогиня со своею свитою, был почти на целое столетие старше Освальда, но имел гораздо более современный вид, даже снаружи, не говоря уже о внутреннем убранстве. Два высоких со стрельчатыми сводами и окнами зала, которые миновали гости, имели строгий, до мельчайших подробностей, характер глубокой старины, тщательно сохраненной. Узкая галерея, с длинным рядом фамильных портретов графов Освальдов, вела в церковь, где начиналась обедня. Эта церковь, освещенная прозрачною мозаикой мелких разноцветных стекол, с открытым католическим алтарем, была невелика. Впрочем, и гостей, допущенных сюда, было немного. Впереди, в особом, обтянутом красным сукном месте, сидел сам старик граф Освальд, одетый в черный бархатный кафтан покроя шестнадцатого столетия. На плечах у него была графская мантия. Гости разместились по скамейкам: в первых рядах дамы, мужчины – позади.

Вся эта обстановка замка и граф в своем черном одеянии резали глаз непривычною важностью и по-своему были величественно красивы, но как-то уж слишком «по-своему», в особенности, в сравнении с шуршавшею своим атласом и шелком толпою гостей, в нарядах, к которым привык глаз Волконского.

Но Никита Федорович не обращал почти ни на кого и ни на что внимания, потому что та, для которой он приехал, была здесь.

Бестужев нарочно явился с дочерью в Освальд, желая показать, что его дела идут вовсе не дурно и что он совершенно спокоен и весел.

Служба была продолжительна. Сначала патер произнес длинную проповедь по-немецки, потом началась торжественная обедня при звуках органа и пения. Волконский нетерпеливо ждал окончания службы, чтобы иметь возможность подойти и заговорить с Аграфеной Петровной, но эта возможность представилась не скоро. Когда вышли из церкви, Бестужева с отцом и прочими важными людьми прошла вперед, и Никите Федоровичу неудобно было попасть в их среду; но он видел, что Аграфена Петровна, пройдя мимо него, заметила его и знала, что он здесь и любит ее, и восхищается ею. Этим сознанием он утешился.

После обедни граф, перейдя в зал, приветствовал важных гостей и здоровался с остальными, которые по очереди подходили к нему и которых, не ошибаясь, называл графу мажордом, неизвестно как и откуда уже узнавший их имена.

Представление кончилось, раздался звук рожка, и два пажа в серебряных епанчах с гербами графского дома Освальдов настезь распахнули большие дубовые двери в соседний зал, где был приготовлен стол для угощения.

Этот стол имел форму подковы и был сплошь заставлен тяжелой серебряною посудой, кубками и кувшинами. Пред каждым стулом с резною высокою спинкой на столе стояли серебряные тарелки, но ни ножей, ни вилок, запрещенных в старину в католических монастырях, не лежало возле них. На середине стола и на обоих концах его, в серебряных бассейнах били небольшие фонтаны белого и красного вина. Тут же стояли затейливые сооружения из теста, украшенного разноцветною глазурью: высокий замок с башнями, дверьми и окнами, корабль с парусами и снастями, огромный павлин, распутивший свой хвост, мельница с вертящимися крыльями, увитый плющом Бахус на бочке. Белая реймская скатерть была увешана и покрыта гирляндами цветов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.